

А. И.
КУПРИН

Избранное



Лазурные берега

Александр Куприн

Кармен

«Public Domain»

1912

Куприн А. И.

Кармен / А. И. Куприн — «Public Domain», 1912 — (Лазурные берега)

«Однажды я и мэтр Маликарне, хозяин ресторана «Свидание шоферов и кучеров», выпив в ожидании обеда, для возбуждения аппетита, по стакану содовой воды с абсентом, играли на карамбольном бильярде. В этой большой прохладной комнате с каменным полом жена хозяина, милая, толстая Катарина, накрывала длинный стол для своих клиентов, ставила перед каждым прибором по полбутылке красного вина, а рядом укладывала салфетки, которые каждый владелец обычно завязывал для отличия своим собственным оригинальным узлом...»

© Куприн А. И., 1912

© Public Domain, 1912

Содержание

Александр Иванович Куприн

Кармен

Однажды я и мэтр Маликарне, хозяин ресторана «Свидание шоферов и кучеров», выпив в ожидании обеда, для возбуждения аппетита, по стакану содовой воды с абсентом, играли на карамбольном бильярде. В этой большой прохладной комнате с каменным полом жена хозяина, милая, толстая Катарина, накрывала длинный стол для своих клиентов, ставила перед каждым прибором по полбутылке красного вина, а рядом укладывала салфетки, которые каждый владелец обычно завязывал для отличия своим собственным оригинальным узлом. Их ребятишки, Альфонс и Шарлотта, – очаровательны смуглые дети, он – шести, а она – девяти лет, – тут же старались нарядить в кофточку и чепчик своего сердитого фокстерьера Пти.

Конечно, я проигрывал партию за партией. Господин Маликарне – один из лучших игроков на всем лазурном побережье, я же – профан и невежда. И вот в антракте между двумя играми, намеливая конец кия, хозяин вдруг обернул ко мне веселое, краснощекое, черноусое лицо и воскликнул оживленно:

– Ах, Monsieur, как я рад, что наконец вспомнил! У меня есть для вас приятная новость. Я давно вижу, что вы всем интересуетесь. Извозчик, который отвозил вас в Симье – Monsieur Альфред, вы с ним знакомы, – рассказывал мне, что вы были очарованы старинными развалинами. Поэтому позвольте вам посоветовать поехать в воскресенье в Фрежюс (Frejus). Это тоже римский цирк, только раза в два больше, чем в Симье. Правда, это немного далеко, километров шестьдесят по железной дороге, но то, что вы там увидите, вы не забудете никогда в вашей жизни. В воскресенье там дают оперу «Кармен» под открытым небом. Это – замечательный спектакль, и повторяется он раз в три или четыре года. Чтобы поглядеть на него, зрители собираются не только с лазурного побережья, но из Тулона, Марсея, даже из Лиона и даже – клянусь вам – из самого Парижа. Кармен будет петь Сесиль Кеттен, самая знаменитая артистка во всей Франции. Да вот, подождите, я вам сейчас покажу сегодняшний номер «Le Petit Nicois». Катарина! Дай, прошу тебя, «Petit Nicois»!

Мы разглядываем с ним вместе объявления о театральных зрелищах: воскресенье, четыре часа дня, заглавная роль – Сесиль Кеттен. Заглядываем тут же в расписание поездов. Оказывается, удобно. Особого доверия восторги мэтра Маликарне во мне не возбуждают. Я уже хорошо знаю цену французскому пафосу и не особенно верю художественному вкусу моего друга. Но где бы и в каком исполнении ни обещали мне «Кармен», я всегда иду слушать эту оперу с неизменной верностью. И кроме того, опера на открытом воздухе. В крайнем случае – курьез. «Кажется, нужно поехать», – думаю я.

А monsieur Маликарне в это время восторженно описывает мне прелести Фрежюса.

– Подумайте только, monsieur, что этот цирк был основан много тысяч лет тому назад. Город когда-то насчитывал больше тридцати тысяч жителей. В его прекрасной глубокой бухте всегда толпились корабли. Именно в Фрежюсе высадился великий Наполеон, после того как он покинул остров Эльбу. Меня не отпускают дела по ресторану, но если бы вы знали, как я вам завидую, monsieur, что вы свободны и можете все это увидеть!

«Нет, я ошибся, у него все-таки есть вкус», – думаю я, и меня начинает разбирать любопытство.

Но в это время в ресторан уже сошлись все его обычные посетители. Мы с хозяином отправляемся умыть руки и садимся за стол.

Два раза мы проехали из Ниццы в Фрежюс без всякого успеха. В первый раз нам сказали, что газета напутала, ошиблась на целую неделю. И в доказательство приводили то, что на столбах не было афиш. В среду на всех киосках и на стенах ниццких домов действительно появились громадные плакаты, где имя Сесиль Кеттен было напечатано полуаршинными крас-

ными буквами. Мы опять поехали в Фрежюс. На этот раз нам с милой, беспечной, южной бесцеремонностью заявили:

– Вы видите, – на небе облака и во всем Фрежюсе кричат петухи. Это значит, что барометр падает и, несомненно, будет дождь. Согласитесь, – что же это будет за спектакль на открытом воздухе под проливным дождем? Не правда ли, *monsieur*? Во всяком случае, позвольте вам дать совет: запаситесь заранее билетами, их берут нарасхват. Осталось очень мало, и то только в первых трех рядах.

– Но ведь это значит, что нам придется третий раз ехать из Ниццы в Фрежюс и, может быть, опять понапрасну? – возразил я недоверчиво.

– Что же делать, *monsieur*, – вздохнул лукавый черномазый южанин-кассир, разводя руками. – Многие приезжают по два раза из Вентимилье и даже из Тулона. Попросите доброго бога о том, чтобы в следующее воскресенье была хорошая погода, и я ручаюсь, что всем хорошим знакомым в вашей далекой Германии вы будете с гордостью рассказывать о том, что вы увидите. Это счастье выпадает немногим на долю. А теперь, *monsieur*, – переменил он свой хвастливый тон на заискивающий, – позвольте узнать, какие билеты вы желаете иметь для вас и для вашей дамы?

Упорство взяло во мне верх над голосом рассудка, и я приобрел два билета третьего ряда.

Добрый бог в самом деле послал в следующее воскресенье чудесную погоду: ясную, солнечную и не особенно жаркую. В три с половиною часа мы приехали в Фрежюс. Из переполненного длинного поезда лились и лились потоки человеческой толпы. Один за другим подходили поезда с севера и с юга, и необыкновенное, нарядное, шумное, пестрое шествие непрерывной рекой тесно заполнило широкую улицу, ведущую от вокзала к цирку. Приходилось подвигаться еле-еле, шаг за шагом, в страхе кося глазами на острые булавки, торчавшие из огромных дамских шляп. Говор, смех, восклицания, шутки, мимолетные приветствия и улыбки издали, через головы толпы, непринужденное, радостно возбужденное настроение...

Право, если бы не мужские панамы и смокинги, и не модно обтянутые дамские платья, и не запах сигар и современных терпких духов, я легко вообразил бы себе, что две тысячи лет тому назад так же вливалась в цирк сквозь гигантскую прекрасную арку многотысячная римская толпа, заранее взволнованная страстным ожиданием кровавых зрелищ.

Цирк поражает своей громадностью, и, несмотря на разрушения, нанесенные временем, в его изящном овале, в двух этажах его сквозных арок чувствуется бессмертная красота и неуловимое изящество. Вся левая сторона цирка заставлена в длину рядами стульев – их, как я потом узнал, более трех тысяч, – и места почти все уже заполнены. Выше полукругом громоздятся скамейки, сплошь занятые оживленной пестрой толпой. Еще выше, в пролете каждой арки, на парапетах, на каких-то невидимых обломках, громоздятся бесчисленными гирляндами, какими-то фантастическими человеческими роями нетерпеливые зрители, жадные до зрелищ так же, как их отдаленные предки, современники рождества Христа. И, наконец, еще выше, гораздо выше древних стен цирка, расселась и улеглась просто на земле, опоясав широким кольцом амфитеатр, сплошная, бесчисленная масса.

Глядишь туда и видишь только живую, колеблющуюся, черную полосу и на ней белые пятна лиц и изредка светлое платье.

Туда собралось все окрестное население из деревень, ферм и маленьких соседних полузабытых, полуразрушенных городишек, бывших когда-то летними резиденциями римской аристократии. Одни пришли пешком, другие приехали целыми семьями в двухколесных таратайках, запряженных крохотными, ростом с датского дога, милыми, терпеливыми, умными осликами, и все захватили с собой вино и провизию. Сюда, на эти спектакли, собираются десятки тысяч зрителей и с таким же нетерпением ожидают и с таким же наивным восторгом смотрят и слушают, как в Обер-Аммергау представление страстей господних.

Не приехали только коренные ниццары. Но они равнодушны ко всему на свете, кроме своего пищеварения и состояния своих карманов.

Я пробую хоть приблизительно подсчитать, сколько может быть людей в этом чудовищном амфитатре, в этой гигантской воронке, возвышающейся чуть ли не до неба. Тысяч двадцать, тридцать, думаю я. Но на другой день мне удастся узнать, что одних только платных мест было двадцать тысяч, и ни одно из них не осталось свободным.

Напротив зрителей, у самой стены, прилепились жалкие подмостки, и на них наивная, одновременно и смешная и трогательная сцена. Три стены, без потолка и без занавеси, а в глубине дверь. Вот и все. И таковой сцена остается в продолжение всех четырех актов.

А человеческая река все льется и льется сплошным течением сквозь широкую старинную арку. Воздух дрожит от слитного, густого и могучего человеческого говора. Если закроешь глаза, то кажется, что ты находишься в самой середине улья, переполненного десятками тысяч исполинских пчел. Изредка на этом общем гуле резко всплывает то звонкий женский смех, то выкрики продавцов холодной воды с лимоном, конфет и программ.

Оркестр из пятнадцати человек, поместившийся на земле, ниже подмостков, потихоньку настраивает инструменты. С неудовольствием я уже заранее решаю, что мне не придется слышать ни одного звука из любимой оперы: музыка на открытом воздухе, отсутствие резонанса, жалкий оркестр и, наконец, десятки тысяч зрителей, нетерпеливых, оживленно настроенных, болтливых, которых, конечно, не в состоянии унять ни один самый отважный капельдинер в мире! И невольно стало жалко напрасно затраченной энергии, хлопот и ожиданий.

Но вот раздается резкий звук гонга, и все, что бродили по свободному, не занятому местами пространству цирка, и те, что толпились у наскоро сколоченного буфета, и те, что флиртовали и зубоскалили с своими соседями и знакомыми, торопливо бегут к своим стульям. И странным кажется на мой русский взгляд, что никто никого не толкает локтем в грудь, никто никому не наступает на ногу, ни одного грубого восклицания. И я чутко слышу, как умолкает шум несметной толпы, уходя куда-то вдаль, подобно тому, как замирает лесной шум, убегая в темные чащи, когда вдруг останавливается ветер. Второй удар гонга, и... тишина. Тихо, как в церкви, как в большом храме ночью.

На сцену выходит маленький человек в сером костюме со стулом в руке. Он ставит этот стул слева от воображаемой суфлерской будки и уходит за кулисы. Тишина становится еще хрустальнее. Третий удар гонга, и вот раздаются прекрасные звуки прелюдии, в которой говорится о страсти, нависающей над людьми, как грозная туча, о любовной тоске, ревности, измене и смерти, о вечном беспощадном обаянии женского тела. И каждый звук так ясен и отчетлив и так сладок здесь, под открытым голубым небом, что знакомая томная печаль и нежное умиление перед красотой вновь властно сжимают мое сердце...

В то же время я испытываю чувство удивления: вряд ли какой-нибудь оперный театр может звучать с такой отчетливостью, как эти развалины. «Неужели, – думаю я, – римские архитекторы знали тайны акустики так же хорошо, как и их юристы с необыкновенной тонкостью устанавливали нормы права?»

Выходят горожане, маршируют детишки, является на смену караул, и я слышу с необыкновенной точностью каждое слово, узнаю темп любого голоса. Солнце светит прямо в лицо хористам, так что они порою невольно заслоняются от него, и глаза их шуряются, а белые зубы блестят от гримасы, сжимающей лицо.

И вот наконец Кармен – Сесиль Кеттен. Она высока ростом, одета очень бедно и небрежно, ее лицо бледно и, может быть, некрасиво, большой широкий рот, настоящий рот певицы, ласковые, бархатные движения тигрицы, никогда не теряющей чувства того, что из-за нее каждую минуту готовы загрызть друг друга насмерть влюбленные самцы, первобытное кокетство женщины из народа, бессознательное, врожденное изящество гордой испанки, неиз-

менной посетительницы боя быков, и в каждом движении чуть-чуть манерная, плавная, страстная извилистость.

Сзади меня сидят русские: мужчина и дама. Я слышу, как дама шепчет:

– Ах, почему же она так бледна и некрасива?

– И правда, – соглашается ее кавалер. Кармен поет свои куплеты о любви, свободной, как птица, и уходит с подругами на фабрику. Появляется в традиционном белом платье Микаэла. Как всегда, на ней золотой парик с длинными косами, как всегда, она поет чистым высоким сопрано, как всегда, публика слушает ее с удовольствием и облегченно вздыхает после ее ухода. Скандал на фабрике. Бедная Кармен арестована, руки у нее связаны назади. И вот, изгибаясь своим уклончивым и податливым телом, медленно приближаясь к дону Хозе шагами прекрасного хищного зверя все ближе и ближе, она поет свою песенку о своем друге Лилас Пастиа.

Près des remparts de Sevilia...¹

Беспечное, но грозное кокетство, чувственный и кровавый вызов слышится в ее словах. Вот он, первый отдаленный гром той грозы, которая вырывает с корнем деревья и разрушает дома, вот первый неясный намек на трагедию, ибо любовь всегда трагедия, всегда борьба и достижение, всегда радость и страх, воскресение и смерть, иначе – она мирное и скучное долготее сожителство под благословенным покровом церкви и закона.

Ее лицо на мгновение оборачивается к нам. Я вижу ее раздутые ноздри, ее пылающие страстью и угрозой глаза, ее вдохновенное царственное лицо. Да, царственное лицо у этой оборвашки в растерзанной белой блузке и короткой коричневой юбке!

– Как она прекрасна! – слышу я женский шепот сзади.

– О да, да, но молчи, молчи.

Я ощущаю, как волосы у меня на голове становятся холодными и жесткими, и я чувствую, я знаю, я уверен, что то же самое испытывают со мной вместе, все до одного, бесчисленные зрители. На секунду я оглядываюсь назад. Снизу от партера и до самого верха отлогой горы темно от народа, но никто не пошевелится, не двинет рукой, точно камни, внимающие пению Орфея. Но вот она окончила песенку, обманула, убежала. Конец акта. И никто не двигается несколько секунд, ни на древнем ристалище, ни в оркестре, ни наверху... И это мне кажется более убедительным, чем если бы все зрители сразу сняли шляпы с головы и коснулись ими земли. Такова волшебная власть гения!

Антракт. Дон Хозе, Цунига и солдаты прямо со сцены соскакивают вниз и идут в буфет пить пиво и лимонад. Боже, как они одеты! Кумачовые штаны, желтые тряпочки вместо позументов. Настоящие французские солдаты, с которыми артисты тут же у буфета дружелюбно болтают, куда лучше их одеты. Но погодите: сейчас они опять взойдут на сцену, и южное солнце сделает чудеса: их рейтузы окрасятся ярким цветом крови, а тряпки заблестят, как чистое золото.

Гонг. Серый человек опять выходит на сцену, ставит стол, а на него два оловянных стакана. Это харчевня.

Нет, это не харчевня. Это то, о чем мы, северяне, так долго мечтали под именем соборного действия. Разве все мы, присутствующие, не видели за эти блаженные три-четыре часа все настоящим: и харчевню, и фабрику, и горы, и солдат, и контрабандистов, и севильскую толпу перед боем быков, и разве мы не жили в странном живописном испанском городе одной красивой жизнью с великолепными, гордыми, бесстрашными людьми? Московский Художественный театр, слышишь ли ты меня?

¹ В предместье Севильи... (фр.)

В постановке оперы, конечно, много недочетов. Так, например, комический хор мальчишек из первого акта был испорчен тем, что режиссер выпустил на сцену человек пятьдесят фрежюсских мальчуганов. Эта живая затея, конечно, была бы очень мила, но он заставил детей маршировать вокруг сцены попарно и в ногу. Получилось что-то вроде парада наших потешных, не хватало только инспектора народных училищ, который командует. Ну, скажите на милость, в каком городе, в какой стране было видано, чтобы уличные гамены² сопровождали караул, да еще с музыкой впереди, хоть в каком бы то ни было порядке? Ведь самое главное удовольствие – влезть чуть не с головой в разверстную пасть огромной медной трубы, приставить ухо к бухающему турецкому барабану, поглазеть, разинув рот, на кларнетиста, как он на ходу насасывает свой мундштук, потолкаться и подраться из-за мест поближе к оркестру. Не правда ли?

Хор держал себя так, как держат все хоры на свете. Известно, что хорист не знает иного жеста, кроме жеста удивления. Этот жест у него единственный. Какие бы чувства ему ни приходилось выражать, он неизбежно откачивается туловищем назад, делает вопрошающее лицо, широкие глаза и вытягивает прямо перед собою правую руку.

И Микаэла, несмотря на приятный, чистый голосок, была несуразна. Каждый раз, окончив свою печальную арию, она – женщина пудов пяти весу – убегала за кулисы вприпрыжку, таким резвым котеночком. Конечно, в ее воображении этот трюк означал приблизительно вот что: посмотрите, какое я маленькое, невинное, резвое дитя, а со мной так плохо обращаются!

Надо сказать, что дон Хозе был плох и сладок, а Эскамильо посредствен. Впрочем, давно замечено, что, если хорош тореадор, плоха Кармен, и наоборот.

Таким образом, одна Сесиль Кеттен одухотворила оперу, украсив ее волшебными цветами своего творчества. Она появлялась на сцене, и вот – точно солнце удесятерило свой ослепительный блеск! При ней и оркестр и хор так чудно сливались вместе, что казалось, звучит какой-то один многоголосый инструмент, в котором одновременно поют и люди, и скрипки, и голубое южное небо, и золотое солнце. И какая тонкая артистическая умеренность в игре! Во втором акте, как известно, есть очень рискованное место: цыганский танец на столе. Я видел, как русские примадонны карабкаются на этот театральный стол, подобно бегемоту, лезущему на дерево, и как бедный стол шатается всеми ножками под их тяжестью. И смешно и жалко. Я видел, как прекрасная, но грубая артистка Мария Гай, ловкая и сильная женщина, одним прыжком вскакивает на стол и танцует с увлечением, со страстью, но, увы, некрасиво обнаруживая слишком большие ноги.

Сесиль Кеттен не танцует. На столе две балерины-гитаны. Все их движения заключаются в сладострастных извивах бедер и торса, в томных, ленивых позах. А Сесиль Кеттен только ходит по сцене своей гибкой, тигриной походкой, перешелкивая кастаньетами, грациозно раскачивая свое тело и короткие пышные юбки. Из ее большого прекрасного рта льется знойная цыганская песня, в которой огонь, кровь и вино.

И еще тонкая подробность: бледности первого акта нет и в помине. Ведь Кармен явилась на праздник, на корриду. На ней лучшее шелковое платье, голова кокетливо украшена старинным черным кружевом, щеки нарумянены, брови – две черные полукруглые дуги, сходящиеся вместе. И ее кокетливые, манящие улыбки все время блестят, как золото на солнце.

В последнем акте Кеттен прекрасна до ужасного. Она поднимает до своей вышины Эскамильо, певца средней величины; я вижу, как она своими прекрасными глазами ведет за собой очарованный хор, и я чувствую, как истинным и чистым восторгом горят сердца зрителей...

Ah, je t'aime, Escamiglio...³

² Мальчишки (от *фр.* gamin).

³ Ах, я люблю тебя, Эскамильо... (*фр.*).

Необычайный по красоте, полный страсти, нежности и предчувствия близкой смерти, льется этот простой, медлительный мотив. Он кончается, и я ухожу. Я настолько близко, не по-театральному, а по-настоящему, по правде, жил радостями, очарованиями и падениями моей прекрасной, гордой, изменчивой Кармен, что я не хочу, не могу, не в силах видеть ее смерти.

Идя к поезду, я все думал: «Ах, отчего ни Проспер Мериме, автор пьесы, ни Жорж Бизе, которого так беспощадно освистали после первого представления „Кармен“ и который через два дня после этого умер в Париже, ни Фридрих Ницше, отвернувшийся от Вагнера для того, чтобы влюбиться в „Кармен“, не видели этой оперы в исполнении Сесиль Кеттен». Да и не могли бы, если бы они и были живы. Через полтора месяца эта прелестная артистка умерла от аппендицита в одной из французских клиник. Операция была произведена варварски. Говорят, была хирургическая ошибка. А гений погиб.